

Психоанализ сегодня – искусство входить в нарисованные двери.

*Посвящается 37-летию
«Полетов во сне и наяву»*

К восьмидесятым годам XX столетия на унылых просторах социалистического лагеря граждане СССР продолжали изображать неослабевающее стремление к окончательному торжеству идеалов ленинизма. Всё так же единодушно рукоплескали на партсобраниях, в ногу вышагивали на парадах, хором клеймили загнивающий запад и дружно отчитывались в перевыполнении плана пятилеток. Но в тени картонных дворцов великой стройки негромко роилась совсем иная жизнь. Те же граждане, угрюмо сопя и упираясь друг в друга локтями, куда-то проталкивались, протискивались и пропихивались, явно преследуя идеалы, отличные от коммунистических. Злобно шикали в очередях, вырывая друг у друга выброшенный на прилавки дефицит; потихоньку что-то откручивали и отвинчивали на производстве, пряча за пазухой добычу от бдительных глаз сослуживцев; карабкались по карьерным лестницам, наступая на чьи-то плечи; получали без очереди жилплощадь, заручившись надежным блатом, словом, всячески стремились не к общественному, а к личному благу, которое воплощалось в вожделенную триаду «квартира, машина, дача».

К тому времени, едва ли многие продолжали собираться на прокуренных кухнях для крамольных разговоров о правде, о смысле, о справедливости, о лучшем устройстве общества. И не то, чтоб зажимали слишком тогда, в восьмидесятых, а попросту эти разговоры стали больше не нужны. Устроено общество как устроено, и слава Богу, т.е., КПСС; преуспеть в нем – вот и весь смысл, а кто преуспел, за тем и правда, и справедливость.

В этой серой и скучной возне, для граждан, зажатых в тиски двойной фальшивой морали, оставалось не так много возможностей наполнить душу чем-нибудь, что не оказалось бы либо слишком отвлеченным, либо слишком суетным. Одной из таких редких отдушин для них было чудо советского кинематографа. Целая плеяда выдающихся талантов жила на экранах телевизоров и кинотеатров содержательной и напряженной жизнью. Их общение было умно, их поступки яркие, их чувства глубоки, их личности многомерны. Даже помещенные сюжетом в привычный для зрителя антураж невзрачного советского быта, герои кино были более полновесны, осязаемы, чем люди из повседневной действительности, как будто им принадлежало

настоящее существование, и не они, а зрители были призрачными тенями по ту сторону экрана.

В этой сокровищнице трагедий и мелодрам, киноэпопей и детективов, драм и комедий есть нечто, совершенно отличное от всего остального, что принадлежит творчеству советского и украинского автора кино Романа Балаяна. Одному Богу известно, что заставляло лучших актеров своего времени, всегда занятых одновременно и в других постановках, съезжаться на съемочную площадку малопрестижной киностудии, к малоизвестному тогда режиссеру, и переходить почти в полном составе из одной его киноленты в другую. Быть может, это была личность Балаяна, или его идеи, или та атмосфера, которую он умел создавать в работе, но когда актеры собирались вместе в кадре, они загорались наподобие магических кристаллов, и возникал волшебный портал, в котором действительность отражалась не искаженной, а зеркально точной, и в ускользающем моменте кадра сплавлялось прошлое и будущее, обнажая главную, вневременную суть.

Тесную квартиру советского служащего наполняет предрассветный сумрак. Сергею Макарову не спится в канун его 40-летия. Несмотря на прохладу осенней ночи, лицо Сергея покрыто потом. Он ворочается в постели, наконец садится, долгим задумчивым взглядом смотрит через плечо на спящую рядом жену. Понимая, что до утра ему уже не уснуть, встает и пробирается в полутьме на кухню, стараясь не задеть детскую кроватку, в которой спит его 5-ти летняя дочь. Напившись воды из крана и умыв лицо, Сергей садится за кухонный стол и включает настольную лампу. Некоторое время он бездумно рассматривает разложенные на столе чертежи, затем подтягивает пальцем выпроставшийся из стопки чистый лист бумаги и твердым почерком выводит крупные буквы: «Здравствуй мама!» На какое-то время рука с пером замирает над написанным, затем снова опускается к листу, но вместо того, чтобы продолжить письмо, малюет смешную, ехидную рожицу. Сергей сминает листок и швыряет его на стол. В предрассветной тишине слышно, как белый комок расправляется с бумажным хрустом. Сергей сминает его во второй раз, уже сильнее, со злостью.

В этот момент на кухню заглядывает проснувшаяся жена и с заботливым участием в голосе спрашивает, что случилось. В коротком диалоге с женой Сергей быстро прорывает тонкую кору ее сочувствия, и из разрыва выплескивает жгучая лава раздражения и обиды. За дверью слышится плач разбуженной дочери. Сергей вскакивает из-за стола и принимается лихорадочно натягивать линялые джинсы, рубашку и растянутый свитер. «Что ты опять начинаешь?» - со смесью мольбы и гнева кричит ему вдогонку жена. «Цирк» - отрезает Сергей и бросается вон из дверей, будто камень, покотившийся с горы.

Начиная с этого момента, и на протяжении последующих трех дней, события которых показаны в фильме «Полеты во сне и наяву», продолжается беспорядочный бег и бестолковая езда Сергея Макарова. В который раз уже он сбегает из дома от опостылевшей жены, с которой его не связывает ничего, кроме чувства долга. Тайком от нее он спешит к любовнице, совсем еще молоденькой девушке, но та ему быстро наскучивает своей наивностью, и вот уже Сергей мчится обратно к жене, пытаясь возродить из пепла разрушенный брак. Он врет и здесь, и там: сближаясь с одной из женщин, тут же тяготится ею, отдаляясь – ревнует и ищет новой возможности сближения.

Измученный размахами маятника своих привязанностей, амплитуда которых всё нарастает и грозит вышвырнуть его вон из отношений с обеими женщинами, Сергей ищет тихой гавани в обществе своей сослуживицы и давней подруги. После неудачного романа, случившегося между ними в годы юности, подруга по-прежнему хранит и лелеет любовное чувство к Сергею, она готова ради него на всё – бесконечно одалживать ему деньги, давать ключи от своей машины по каждому его требованию, – на всё, кроме возобновления их романа. Она устала верить Сергею и не ждет от отношений с ним ничего, кроме новой боли непрерывных метаний. Да и сам Сергей, подпитав вниманием огонек ее любви и убедившись, что огонек не гаснет, кружит свою подругу в танце и тут же оставляет ее, забывшуюся в сладкой иллюзии взаимности, кружиться в одиночестве.

Похожие отношения складываются у Сергея и на его работе в архитектурном бюро. Будучи человеком талантливым и неординарным, подававшим, очевидно, в молодости большие надежды, Сергей утратил всякий интерес к рутинному вычерчиванию строительных проектов. Он явно тяготится этим занятием и в тысячный раз придумывает благовидные предлоги, чтобы отпроситься с работы. Всё больше злоупотребляя сочувствием сослуживцев, он вызывает всё большее их недоверие, а оскорбленный недоверием, мстит им, паясничая и выставляя сослуживцев дураками. И на работе, и в личной жизни Сергей нагромождает ложь, исчерпывая остатки доброжелательства к нему со стороны окружающих. В попытках вернуть сочувствие, Сергею приходится прибегать уж к совсем отчаянным мерам: то он симулирует сердечный приступ, то взывает к вымышленной болезни своей матери. Но едва Сергею удастся очередным враньем выторговать себе новый кредит доверия, он вдруг начинает дерзко и вызывающе говорить правду, провоцируя этим уже неприкрытый гнев и отвращение окружающих.

Мать героя, по-видимому, находится в отправном пункте его метаний, и, одновременно, в их конечной точке. Доведенный до отчаяния крахом во всех сферах своей жизни, который сам же и вызвал, Сергей пытается уехать к матери в деревню, поздней ночью запрыгнув в вагон попутного товарного поезда. Но и здесь его ждет неудача. Избитый шайкой воров, которых

случайно застаёт за их преступным занятием, едва живой, Сергей возвращается обратно в город.

Спустя еще один день, который Сергей проводит в бесцельных блужданиях по городу, попытках вернуть утраченное и склеить разбитое, наступает праздник его сорокалетия, становящийся кульминацией трагедии главного героя и финалом фильма. Где-то за городом, на поляне у озера, возле импровизированного шалаша, сооруженного юбиляром и названного им «дачей», собрались друзья, знакомые и сослуживцы Сергея, чтобы поздравить его с днем рождения. Сергей стоит перед ними на коленях и, понукаемый начальником по работе, повторяет вслед за ним слова своих извинений. Извинения приняты, все пьют за здоровье Сергея, начинаются танцы под магнитофонную запись популярного шлягера. Казалось бы, всё, хоть и с горем пополам, начинает налаживаться. В виду танцующих гостей Сергей начинает раскачиваться на тарзанке, подвешенной к дереву над крутым берегом озера. Он раскачивается всё сильнее, затем вдруг отпускает веревку и с дурацким «ку-ка-ре-ку» обрушивается в ледяную воду. Гости спешат на помощь, в замешательстве суетятся на берегу, тщетно надеясь, что Сергей появится из воды, наконец, начинают снимать одежду, готовясь за ним нырять. В этот момент на берегу появляется Сергей. Всё это время он, промокший до нитки, прятался за деревом и, трясясь от холода, наблюдал за произведенной им паникой. От такой выходки гости приходят уже в совершенную ярость. Прокричав Сергею что-то крайне обидное, все разом поворачиваются к нему спиной и уходят прочь. Сергей бежит через поле в противоположную сторону. С задорным кличем, потрясая над головой пучком соломы словно неким флагом, он примыкает к ватаге каких-то мальчишек, катящих мимо него на велосипедах, бежит впереди них, затем рядом с ними, затем отстает, падает в стог, обессиленный, сворачивается калачиком и зарывается в сено. Какое-то время из стога доносятся всхлипывания, которые Сергей издает то ли от холода, то ли от плача. Занавес.

Характер Сергея Макарова, его конфликты и противоречия, особенности его поведения и отношений с людьми, безусловно, представляют собой благодатную почву для психоаналитического толкования. Пожалуй, я мог бы долго распространяться на тему кризиса сорокалетнего возраста, щедро сдабривая свои рассуждения мудреными словечками из профессионального жаргона, такими как инфантильность, эгоцентризм, депрессивная динамика, сепарационная тревога, эдипальная фиксация и т.д. и т.п. Уверен, что каждый из вас сумеет сделать то же самое не хуже меня, правда, вряд ли из всех наших трактовок найдутся хотя бы две одинаковые.

Я не стану вдаваться в психоаналитические интерпретации героя, но совсем не потому, что беспокоюсь за их неверность или неполноту. Для этого есть ряд других причин, и первая из них такова, что, совершив свой анализ, мне пришлось бы испытывать стыд перед объектом толкования, пусть он и является всего лишь вымышленным персонажем кинофильма. Разложив по полкам психоаналитической теории душевные терзания Сергея, я почувствовал бы, что все то живое, текучее, многоплановое и непостижимое, что удалось воплотить в его образе гению Олега Янковского, я сделал неживым и плоским. Мне пришлось бы ощутить, что нечто живое я убил и в себе, еще больше отдалившись от понимания сути героя, которая в моей собственной душе отзывается такой знакомой, мучительной болью.

Другой причиной, которая заставляет меня воздержаться от упражнения своих психоаналитических навыков, является то, что обозначив невроз Сергея, я обособил бы его, как условно больного, от условно здоровой социальной группы, частью которой он является. Но такой взгляд далек от истины, ведь Сергей не случайно так сильно любим и так сильно ненавидим людьми, которые его окружают. Запасы их терпения к его подлому вранью сравнимы по масштабу только с уровнем гнева, который у них вызывают его жестокие выходки.

При более внимательном рассмотрении можно увидеть, что Сергей представляет собой фигуру, а весь город с его жителями – фон, повторяющий его круговые и маятникообразные передвижения. Повсюду раскачиваются на разномастных качелях дети, физкультурники методично нарезают круги на роликах всех конструкций и систем, люди прогуливаются взад и вперед, идут и едут, по рельсам и без рельсов, создавая скорее видимость осмысленного, поступательного перемещения в пространстве. Каждый из второстепенных персонажей фильма, в не меньшей степени, чем главный герой, пойман в сетях своих противоречий, запутанных взаимоотношений, несбывшихся надежд и нестерпимых разочарований. Их существование уныло и беспросветно. Они собираются для отдыха или работы, но едва ли это приносит им настоящую радость. Их контакты друг с другом, ограниченные самолюбием, искусственны и неглубоки; их дела, лишённые вдохновения, мелки и однообразны.

Сергей вмещает в себе все то, от чего страдают и на что закрывают глаза остальные. Блуждая по улицам города, забредая в квартиры друзей, разгуливая по помещениям архитектурного бюро, Сергей ведет себя так, будто его окружают не настоящие здания, квартиры и помещения, а декорации скучного спектакля, среди которых он оказался по какой-то нелепой случайности. Сергей встречается в различные ситуации, цепляет знакомых и незнакомых, кривляется и юродствует, словно пытается вытряхнуть людей из сонного оцепенения заученных ролей, которые давно никому не интересны. От прочих Сергей отличается лишь тем, что он один

отдает себе мучительный отчет в том, что пойман, он один сохраняет живое, бьющееся вовне чувство, один стремится в своем безумном беге по кругу найти выход за его пределы, не оставляет надежды, раскачавшись изо всех сил, пробить брешь в невидимой стене и взлететь.

Остальные же просто смирились с безысходностью. Лучшие из них пытаются придать приемлемую форму и подходящее обоснование своему бессмысленному хождению по заведенному кругу, и только наедине с собой, бессонными ночами, предаются пустым сожалениям и бесплодным мечтам. Худшие же принимают всю фальшь и уродство повседневной жизни за необходимую данность, и стремятся в этой жизни как можно лучше утвердиться – они вызывают у зрителя меньше всего симпатии.

Наконец, есть и третья причина, которая заставляет меня считать психоаналитическое препарирование неуместным, и на ней я попытаюсь остановиться подробнее.

Мне 6 лет. Ясным, солнечным, весенним утром я стою на ступенях широкой лестницы, ведущей к центральному входу морфологического корпуса медицинского института. Я смущенно переминаюсь с ноги на ногу, робко поглядываю снизу вверх на колоннаду величественного фронтона и крепче сжимаю руку стоящей рядом со мной мамы. Мама ласково улыбается и подбадривает меня: «Идем, не бойся! Совсем скоро ты станешь врачом и будешь лечить людей, но сначала ты придешь сюда учиться, чтобы узнать, как они устроены. Идем, я тебе покажу!». Мы проходим сквозь высокие, массивные двери и попадаем с залитой солнцем улицы в полумрак необъятного холла. Прямо перед нами еще одна широкая лестница с лепной балюстрадой поднимается куда-то вверх, разделяется надвое и расходится в стороны, выше, в самое поднебесье этого страшного святилища знаний. Мы не решаемся идти наверх и сворачиваем в один из широких боковых коридоров. Там со стен на нас строго глядят из своих портретов какие-то ученые бородатые старики, и мне становится совестно перед ними за то, что я зашел непрошенным, не заслужив еще гордого звания студента медицины. Мы идем дальше по коридору, проходим мимо скелетов, которые широко улыбаются нам сквозь стекла шкафов, в которых они когда-то заперлись, наверное, да так и остались навеки; мимо распухших эмбрионов так и не родившихся чьих-то детей, закупоренных в тесные, мутные колбы; подходим к приотворенной двери прозекторской, и сквозь узкий дверной проем мне удастся рассмотреть белый кафельный пол и край секционного стола, играющий в ярком электрическом освещении металлическим, матовым блеском. «Сюда, пожалуй, тебе заходить рановато» - произносит мама и увлекает меня назад, к выходу. Я снова крепко сжимаю ее руку и шепчу: «Мамочка, я очень-очень хочу здесь учиться!»

Прошло немногим более 10 лет, и вот я, уже облеченный гордым званием студента медицины, стою в группе сокурсников посреди того самого прозекторского зала, который некогда так поразил мое детское воображение. Сгрудившись тесной кучкой и обнявшись друг с другом, мы нависаем над секционным столом и дружно смеемся в объектив фотоаппарата, которым один из наших товарищей запечатлеват на память это мгновение студенческой жизни. Мне хорошо запомнился этот кадр. Наши молодые, свежие, задорные лица. Между нами скелет, который мы приобщили к честной компании, нарядив в медицинский халат и шапочку и обняв наравне со всеми (тот род фотографии, который, наверняка, однообразно воспроизводят многие поколения первокурсников). Перед нами на столе разложена пропитанная формалином туша с начисто содранной кожей. В этой груди развороченных костей, мяса и сухожилий – всего, что осталось после наших анатомических экзерсисов, – едва можно узнать бранные останки человека, какого-то бедолаги, который сподобился после смерти так славно послужить науке и нашему студенческому веселью. Кто-то из нас, позируя перед камерой, склонился над телом с ножом, другой приставил к голове трупа рожки из растопыренных пальцев, третий держит в руке надкушенный бутерброд, еще один разинул рот, изображая в шутку намерение укунить труп за ногу.

Черт возьми, почему никто не сказал нам тогда, что этого нельзя?! Даже нет, почему не было рядом никого, кто объяснил бы нам, почему именно этого нельзя?! Даже еще нет, почему не оказалось с нами ни одного человека, кто достучался бы до того места в наших душах, в котором безо всяких объяснений у каждого есть знание о том, что этого нельзя?! Беда в том, что на руинах советской медицины и образования, куда мы пришли становиться врачами, не оставалось почти не одного педагога, который мог бы это сделать; в том, что нам понадобилось провести всего один год, грызя гранит науки в этих каменоломнях, чтобы то самое место в наших душах оказалось наглухо заваленным неподъемными грудями полезных, бесполезных и вовсе ненужных сведений. Пропущенные сквозь дробильню медицинского образования, со всеми его унижениями, несправедливостями и бессмыслицей, мы превращались не во врачей, а в злобных орков, у которых не оставалось другой отдушины, кроме циничного дуракаваляния. Святилище науки оказалось склепом. Мы стремились на волю, в будущее, на клинические кафедры.

Несколько лет спустя, в один из жарких сентябрьских дней, наша студенческая группа сидит в кабинете кардиотокографии одного из городских роддомов. Идет второй год клинического обучения. Кабинет представляет собой небольшую комнату с кушеткой посредине и стоящей подле нее тумбой, на которой установлен аппарат для измерения частоты

сердцебиений плода и регистрации тонуса матки. В нашей группе 12 человек, мы едва помещаемся со своими стульями в узком пространстве между кушеткой и стенами кабинета. На кушетке перед нами, навзничь лежит беременная женщина, лет двадцати, не больше. На ней спущенные до колен спортивные брюки и задранная к подбородку футболка. Ее большой округлый живот со сглаженным пупком, стриями и пигментными пятнами, обнажен и перехвачен ремнем с электродами. Женщина старается смотреть в потолок – единственное место в кабинете, где ее взгляд избавлен от созерцания наших скучающих физиономий. Она явно напряжена и, услышав малейший шорох, доносящийся из нашего круга, машинально сжимает колени и порывается поднять руки, чтобы прикрыть белый треугольник трусиков, но каждый раз сдерживается и опускает руки обратно на кушетку, понимая всю бесполезность такого начинания. Ее лечащий врач и, по совместительству, ассистент кафедры гинекологии и наш куратор, оговаривая накануне наше присутствие при ее обследовании, просил свою пациентку не смущаться будущих докторов, которые должны освоить важную диагностическую методику. Отказать своему врачу, по-видимому, ей было неудобно.

Освоение методики заключается в том, что один из нас надевает очередной пациентке ремень с электродами и нажимает на кардиотокографе кнопку пуска. Остальное время мы сидим, тупо уставившись на монитор, по которому пробегает светящаяся кривая, и наблюдая как из щели аппарата с шелестом выползает калибровочная лента. Так проходит минут 40. Эта пациентка у нас сегодня четвертая по счету. Методику мы осваиваем уже третий день. В тесном кабинете невыносимо душно от большого скопления людей. Качество воздуха едва ли улучшают пары, обильно выдыхаемые нами после вчерашней совместной вечеринки. Кто-то из нас, сдавленно хихикая, рассказывает соседу на ухо анекдот. Сосед сгибается пополам, зажимая рот руками, наконец, не выдерживает и разражается громким ржанием. Рассказчик присоединяется к нему и тоже покатывается со смеху. Все остальные, хотя и не слышали шутки, вскоре также заражаются весельем. Беременная женщина на кушетке поначалу косится в нашу сторону с улыбкой недоумения, затем зажимает глаза и заливается смехом, пока на глазах не выступают слезы. Долгое время весь кабинет кардиотокографии сотрясается от безудержного истеричного хохота.

Так, год за годом проходила наша учеба. Подобно ватаге беспризорников мы бестолково слонялись между клиническими кафедрами, пересаживаясь из трамвая в троллейбус, из маршрутки в вагон метро, добираясь из одного конца города в другой по два, а то и по три раза на день. Постоянно кого-то искали в пропахших хлоркой лабиринтах больничных коридоров, часами просиживали без дела в тесноте учебных комнат, простаивали в операционных, поднимаясь на цыпочки и вытягивая

шей, чтобы хоть что-нибудь разглядеть из-за спин хирургов и других своих однокашников. Честь и хвала тем немногим преподавателям, которые находили возможность выкроить для нас время и стремились передать нам свои знания! Невозможно судить строго всех прочих, кто, тщательно проведя перекличку и занеся сведения о присутствии в журнал, стремился избавиться от нас под благовидным предлогом, чтобы заняться другими делами и появляясь только в конце занятия, чтобы после повторной переклички отпустить нас, наконец, на все четыре стороны. Попытаться высечь искру энтузиазма из того болота разочарования, апатии и озлобленности, в которое превращалась к старшим курсам большая часть студентов было трудным и неблагодарным занятием. Организация учебного плана, объем основной, лечебной работы у кафедральных сотрудников и сложившийся характер отношений в медицинской среде такому занятию никак не способствовали.

К последнему году обучения, нам все же удалось, с горем пополам, овладеть теми знаниями, умениями и навыками, которые считаются необходимыми для врачебной деятельности. Отработанными приемами мы осматривали, ощупывали и простукивали. Могли понимать значение цифр лабораторных показателей и видеть смысл в разводах света и тени на рентгенограммах. В нескончаемом потоке жалоб и стонов, крови и слизи, мочи и кала научились выуживать знакомые по учебникам симптомы, складывать из них мозаику синдромов и ставить, подчас довольно точно, диагнозы.

Вместе с тем, тщеславное торжество от постановки точных диагнозов оказалось недолговечным, и я все больше чувствовал, что в моих познаниях недостает чего-то важного, может быть, самого главного. Устройство человека, которого я научился расчленять на части, вплоть до самых мелких молекул его химического состава, стало понятнее, но я утратил способность узнавать человека в людях. Теперь вместо людей меня окружали франкенштейны, тупые и надоедливые, устойчиво разделившиеся в моем восприятии на две простые категории – тех, от кого что-то нужно мне и тех, кому что-то нужно от меня. Наконец, я вдруг осознал, что сам давно превратился во франкенштейна и тогда мне стало по-настоящему страшно. Близилось окончание института, и я решил связать свою будущую деятельность с психиатрией, в надежде найти способ вернуть себя и заново вдохнуть жизнь в окружавших меня монстров.

Поздней осенью, сырым и зябким вечером, я стою на площадке у заднего крыльца одного из корпусов психиатрической больницы в довольно большой компании людей. Нас около пятнадцати – старшекурсники, интерны, клинические ординаторы и молодые врачи, собравшиеся на заседание кружка психиатрии. Нестройное общество, в котором не все

между собой знакомы, разбились на кучки по 3 - 4 человека. Давно стемнело. В тусклом свете одинокого фонаря, который возвышается неподалеку, видны только силуэты кружковцев, их лица время от времени озаряются сигаретными огоньками. Многие стоят молча, некоторые коротко переговариваются между собой. Я подхожу к той группке, из которой доносится более оживленный разговор. Обсуждают пациента, которого разбирали на прошлом заседании, обильно пересыпая речь психиатрической терминологией. Улучив момент, в надежде завоевать авторитет, я вступаю в разговор с каким-то умным, как мне показалось, вопросом, но достигаю противоположного эффекта. «Чего-чего?» – переспрашивает меня один из говоривших – «Ты Ясперса хоть читал? Нет? Так почитай вначале, потом суйся с вопросами». Смущенный, я отхожу в сторону, к другой группе, в которой радостно узнаю своего сокурсника. Он переминается с ноги на ногу, нервно поглядывает на часы, наконец, интересуется у стоящего рядом интерна: «Так в 6 начало?» - «Ну». – «Так уже скоро 8!» – «Ну». – «Так сегодня будет что-то, или нет?» – «Ты че, первый раз?» – «Да». – «Ну ты дал! Я в дурке с четвертого курса трусь, а ты на шестом спохватился! Ладно, не кипешуй, будет тебе цирк».

Наконец, в дверях больницы появляется невысокий сутулый мужчина лет за пятьдесят в довольно несвежем медицинском халате. Ни на кого не оглядываясь и едва цедя сквозь зубы что-то невразумительное в ответ на наши приветствия, он спускается с крыльца и медленно выкуривает сигарету, глядя куда-то сквозь нас, в темноту перед собой. Это руководитель кружка, доцент кафедры психиатрии. Затушив окурок в пустой сигаретной пачке, он поворачивается к нам спиной и направляется обратно в отделение, бросая на ходу и не обращаясь ни к кому в отдельности: «Ну что, академики, заждались? Идем, надо ж кому-то вас учить!» Мы заходим следом и располагаемся в одной из небольших лекционных аудиторий за партами, ряды которых образуют амфитеатр, уступами спускающийся к небольшому просцениуму, на котором возвышается кафедра и стоит два стула. Один из стульев занимает доцент, и теперь, в электрическом освещении, я имею возможность разглядеть его получше. Редкие, прямые волосы с сильной проседью. Широкий лоб с высокими залысинами. Крупный нос с прожилками, мешочки под глазами, дряблые щеки и полные губы создают впечатление будто все лицо как-то скомкано и отвисает книзу, что придает ему постоянное выражение брезгливости. Блеклые глаза смотрят из-под припухших век как-то неопределенно, с выражением то ли усталости, то ли скуки.

Спустя несколько минут в аудиторию входит санитар, сопровождающий предмет предстоящего нам клинического разбора – долговязого молодого человека лет двадцати пяти. Кружковцы, затаив дыхание, вперяют взгляды в пациента и возбужденно подпихивают друг

друга локтями. Такое напряженное внимание многочисленных зрителей оставляет пациента совершенно безучастным. Руководимый санитаром, он покорно садится на стул возле доцента и застывает в неестественно выпрямленной позе, которую не меняет до конца осмотра. Осмотр заключается в том, что доцент, усевшись вполборота к больному и упершись ладонями в колени, чрезвычайно язвительным тоном задает тому вопросы о причинах госпитализации, о том, что он делал, думал и чувствовал перед тем, как попасть в больницу. Пациент, будучи спрошенным, сразу отвечает, никак не реагируя на язвительный тон собеседника, а ответив, тут же умолкает. У пациента бледное вытянутое лицо художника, с красивыми, правильными чертами, обрамленное копной взъерошенных курчавых волос. Взгляд темных, глубоких глаз обращен куда-то внутрь, на лице неподвижно застыла радостная полуулыбка человека, который внезапно понял что-то очень важное и никак не может это осмыслить. Время от времени, без всякой видимой причины, пациент совершает странное движение рукой, будто выхватывая что-то из захлопывающихся дверей лифта. В этом жесте, который повторяется с однообразной точностью, присутствует неожиданная, почти балетная грация. Доцент встречает ответы больного довольно своеобразно. Он фыркает с невыразимым презрением и переспрашивает, будто имеет дело с малолетним завравшимся воришкой. Пациент оставляет эту реакцию без всякого внимания, повторяет свой ответ монотонным невзрачным голосом и снова что-то выхватывает в воздухе. Так продолжается около получаса. Вопросы доцента проникают во все тайники и закоулки биографии больного, вплоть до самых интимных деталей. Пациент подробно, монотонно отвечает и снова что-то выхватывает из одного ему видимого лифта. Доцент насмешливо фыркает, отворачивается, хлопает себя по ляжкам и возводит очи горе. Пациент остается неизменным. Осмотр завершается тем, что доцент предлагает больному встать и троекратно стучит ему по лбу согнутым указательным пальцем. Пациент продолжает стоять молча и неподвижно. Величественным жестом доцент отдает распоряжение санитару увести пациента обратно в палату.

Проведя эту экзекуцию, доцент обращается к аудитории. Он заметно оживлен и излучает выражение из смеси торжества и разочарования. В этот момент он напоминает мне ребенка, который в долгое отсутствие родителей испортил заводную игрушку и, пытаясь заставить ее снова двигаться, доломал окончательно, убедившись, что внутри нее нет ничего кроме железяк и опилок. Начинается второе отделение этого спектакля – клинический разбор. На протяжении этого действия доцент движется между рядами парт и, подходя к очередному кружковцу, указывает на него пальцем и отрывисто выкрикивает: «Ты...Теперь ты». На это обращение каждый из нас пытается озвучить свое мнение о пациенте, одни робко и заикаясь, другие – уверенно, со знанием дела. Всех нас, тем не менее, постигает одна и та же

участь, не исключая знатоков Ясперса. Едва слышав несколько слов отвечающего, доцент с невыразимым презрением фыркает, машет безнадежно рукой и движется к следующему, будто некий Диоген со свечкой. Дойдя таким образом до конца и не оставив никого из нас без внимания, доцент возвращается к просцениуму и, превратившись на мгновение из Диогена в римского кесаря времен упадка империи, провозглашает: «Запишите, академики, и запомните – шизофрения, параноидная форма, выраженный апатико-диссоциативный дефект». После этой сокрушительной реплики, доцент запахивает полу халата, словно тогу, и, не прощаясь, уходит. Заседание кружка окончено.

В последующие годы, которые я провел за работой в психиатрической больнице, бесконечно, вплоть до писчего спазма, испещряя тонны медицинской макулатуры стереотипными диагнозами и однообразными дневниковыми записями, эта реплика доцента навеки запечатлелась в моем мозгу. Мне не раз приходилось пересекаться по работе и с самим доцентом, и я не переставал недоумевать, как этот вдумчивый, деликатный человек и отличный диагност мог вести себя так, как мне довелось наблюдать на кружке тем сырым ноябрьским вечером. Наконец, я подумал – быть может он, как и я, слишком болезненно чувствовал, что не способен больше видеть людей в окружавших его франкенштейнах и порой не мог сдержать своего гнева на это. Быть может, что-то ценное в нем, как и во мне, что мы могли бы дать людям, оказалось навсегда захлопнутым, и мы не умели, не знали как выхватить эту ценность из захлопывающейся пустоты, как это мог делать тот больной шизофренией.

На этом этапе своей жизни мне посчастливилось познакомиться с идеями психоанализа. Знакомство это состоялось посредством моего участия в аналитической группе, которую вели немецкие и австрийские терапевты. Не стану утверждать, что мое вступление в групп-аналитический проект было продиктовано некими возвышенными мотивами – на то время у меня их не оставалось вовсе. Как и многих других, меня манило все «европейское»: в освоении импортной методики мне мерещились какие-то грандиозные, хотя и смутные перспективы; в иностранных подписях на сертификате мнились серьезные преимущества, которые должны были поставить меня вне конкуренции среди многочисленных братьев и сестер по цеху; наконец, мной владел банальный страх – многие шли учиться в какие-то проекты и я спешил запрыгнуть в уходящий поезд, чтобы не попасть случайно впросак.

Однако, по мере моего участия в группе, все эти мотивы отошли далеко на второй план, поскольку произошло нечто гораздо более важное, чего так и не случилось с Сергеем Макаровым в фильме «Полеты во сне и наяву». Ни в постели с женой, ни в объятиях любовницы, ни за бутылкой водки в компании старого друга он так и не смог выйти за пределы своей

изоляции и продолжал метаться в личном аду стыда, ненависти, вины и страха. Вокруг себя он так и не нашел людей, по которым так тосковал – потому что мог видеть только статистов, годных лишь для обслуживания его эгоизма – гремучего коктейля из чрезмерных притязаний и жадной потребности в любви. Подобно Сергею Макарову, на группе я много умничал, валял дурака, цеплял всех и каждого и ходил по кругу, пока наконец не сорвался со своих качелей и не упал – но не в холодную воду, а в теплые руки своих одноклассников. Мой страх растворился в их доверии, моя ненависть – в их любви, моя вина - в их прощении, мой стыд – в узнавании себе подобных. Я безмерно благодарен им за этот опыт и считаю долгом своей благодарности совершать усилия и создавать ситуации, которые помогут этот опыт сообщить другим людям. В моем представлении – психоанализ не более чем двери, одни из многих, которые позволяют попасть в то место, где такой опыт возможен. Мне грустно бывает смотреть, как в наш век тотальной деконструкции всех идеологий, всеобщего отчуждения и потребительской гонки психоанализ рискует быть возведенным в ранг новой схоластики, превратиться в инструмент наживы и эффективный способ противопоставлять себя окружающим.

Я не думаю, что умение ориентироваться в психоаналитической теории, обладание званием психотерапевта, тренинг-аналитика и супервизора, равно как и членство во всевозможных профессиональных объединениях дают мне право кого-то учить, лечить или оценивать. Я – Буратино, который проткнул носом холст с нарисованным очагом и нашел дверь, которая ведет в волшебный театр, где я могу быть живым мальчиком среди живых людей. Я всего лишь могу показать туда дорогу.

30.08.2019